



**Энтони УОЛЛ**

## **О взглядах на Бахтина в Германии**

В данном тексте я пытаюсь говорить о практически несуществующем — хотя вполне определимом — «объекте»: о Бахтине с маркой «Made in Germany» и этикеткой «Bachtin», поскольку его имя транскрибируется на немецкий именно так. По сути нет какой-то особой данности, которую можно было бы назвать «немецким Бахтиным». К тому же есть люди, что пишут по-немецки, работают в традиции Бахтина, либо с его текстами, но в Германии не живут. Сами понятия, составляющие сердцевину бахтинской философии — такие, как «центробежные силы», «карнавальный смех», «народная смеховая культура», хитросплетения спекулятивной и утопической мысли и т. д., — во многом кажутся вызывающе-дерзкими по отношению к строгим традициям германской интеллектуальной жизни, основанным на скрупулезном эмпирическом базисе и детальных библиографических комментариях. Задаваясь вопросом, чем стал Бахтин в немецкоязычных университетах, неизбежно (и почти дословно) вспоминаешь критические высказывания историка Норберта Шиндлера в адрес немецких ученых, которые безапелляционно отвергают исследования народной культуры как таковой, игнорируя все человеческие и культурные явления, которые не вписываются в их «научно» обоснованную систему идей о культуре. «Глубоко укорененная серьезность научной деятельности» и «исторически-давняя жажда разграничений» заталкивают академические исследования в угол, где ученые оказываются изолированными «от всего, что — по их мнению — не имеет отношения к науке».

Итак, идеи Бахтина во многих своих аспектах и в поле многих дисциплин кажутся не отвечающими запросам научного поиска. Весьма часто его просто не принимали всерьез или сознательно игнорировали. На месте того, чем Бахтин мог бы стать в немецкоязычном мире, мы видим некое вопиющее зияние, которое

объясняется почти полным отсутствием чего-либо специфически бахтинского в трудах тех лингвистов-теоретиков, что занимаются сферой культуры. В Германии и за ее пределами существует блестящая школа продуктивных и новаторских исследований языка (так называемая «Textlinguistik»); такого рода текстуальная грамматика развивается уже более десятилетия, будучи сосредоточенной, — как и идеи Бахтина, — на тех значимых феноменах, что выходят за пределы отдельного слова и даже за пределы фразы. Однако создается впечатление, что адепты данной теории напроочь игнорируют многие из направлений, выросших на базе так называемой философии языка, к которой они охотно бы причислили и бахтинскую «металингвистику». Представление об этой практически безбахтинской немецкой *Textlinguistik* можно получить из многотомных *Dialoganalyse*, изданных Эддой Вайганд и Францем Хундснуршером в конце 1980-х \*. В данном, чрезвычайно значительном собрании исследований дискурса в духе немецкой научной школы единственная франкоязычная статья о Бахтине оставляет исключение среди преимущественно немецких текстов, да к тому же и написана она не лингвистами.

В тех же случаях, когда мы в немецких академических кругах встречаем Бахтина и его идеи, — причем используемые нередко весьма умело и продуктивно, — «Бахтины», представленные в таких работах, значительно отличаются один от другого. В этом по сути нет ничего дурного, но мы лишний раз видим, как трудно сформулировать некое четкое бахтинское единство по отношению к данной среде. Различия между несхожими «объектами» (т. е. «Бахтинами») легче будет понять, если мы учтем, с одной стороны, огромные идеологические разрывы, что существовали (и существуют?) между Востоком и Западом, а с другой — антагонизмы между старыми, прочно зарекомендовавшими себя центрами интеллектуальной жизни (старыми, традиционными университетами) и новыми перифериями (новыми университетами). За разными Бахтинами, таким образом, проступают многие очевидные политико-исторические факторы; достаточно вспом-

---

\* Имеется в виду «Dialogue et altérité dans les genres littéraires» Аугусто Понцо и Анжелы Бьянкофьоре. Понятие «дискурс-анализа в немецком стиле» применимо лишь к первому выпуску «*Dialoganalyse*» и двум томам «*Dialoganalyse II*», но не к «*Dialoganalyse III*», где доминируют представители болонской семиотической школы. 2-й том «*Dialoganalyse III*» включает еще две статьи Бьянкофьоре и Понцо (соответственно — «Dialogo e poetica in Valery» и «Del Dialogo fra Rousseau e Jean Jacques»), непосредственно касающиеся работ Бахтина. «*Dialoganalyse IV*» остался мне недоступным.

нить о разделении Германии, чтобы представить себе обширные зоны пустоты, которые отделяют данные «объекты» один от другого. Тем самым вырисовывается глубокий контраст, — пространственный и интеллектуальный, — который в итоге породил почти воинствующее противостояние между прочтениями Бахтина на Западе и на Востоке. Существуют, впрочем, и другие, пусть не столь очевидные и драматичные, но вероятно, не менее важные исторические причины внутри самой академической науки: эти причины, восходящие к методологическим и духовным традициям, отнюдь не сошли и не сойдут на нет с разрушением Берлинской Стены.

Проникновение Бахтина в немецкие «Geisteswissenschaften» прошло негладко, но и не без весьма эффектных взлетов. Возможно, самым перспективным (по крайней мере, для Германии) аспектом того, что ныне часто называют «бахтинистикой», стал не только факт инфильтрации Бахтина в ряд весьма разнородных филологических кафедр, — хотя и отнюдь не во все, — но и его формальное или/и духовное воздействие и на тех, кто работал в других дисциплинах: в особенности на весьма значительную группу историков, фольклористов и социологов. Поэтому порыв к «бахтинским исследованиям» в немецкоязычном мире отнюдь не был единым: с Бахтиным беседовали и спорили весьма несходные интеллектуальные традиции и навыки научного поиска.

Как и следовало ожидать, разные обличья Бахтина непосредственно обусловлены той книгой или текстом (текстами), которым отдает предпочтение данная группа читателей. Так, к примеру, историки чаще всего обращаются к книге о Рабле, филологи — к монографии о Достоевском, социологи — к *МФЯ* Бахтина/Волюшинова. Вопрос о том, какие тексты предпочтительнее для специалистов в той или иной дисциплине, зависит и от исторических капризов, в силу которых определенные тексты оказывались в данный момент доступными — в немецком, либо английском и французском переводах (последние также широко читаются в немецких университетах). Подробнее на проблемах перевода мы остановимся ниже.

Бахтин, таким образом, отбрасывает на немецкоязычный мир причудливые тени, перевоплощаясь в странные формы с едва различными контурами. Тени эти упали на многие, причем весьма неоднородные почвы. Нынешняя наша попытка проследить — хотя бы частично — конфигурации этих теней усложняется еще и тем фактом, что на данный момент многочисленные тексты, написанные о философии Бахтина, либо с использованием его

методологических концепций, рассеяны в значительном числе регулярных академических изданий бóльшого или меньшего тиража, в периодике широкого спроса, а также в узкоспециализированных журналах маленьких научных обществ. Некоторые из статей задуманы в качестве начальных пособий по распространению идей Бахтина среди коллег в данной области науки, другие же представляют собой самоценные, специализированные исследования, в которых эти идеи воплощаются, перенимаются, адаптируются, а то и подвергаются нападению.

По сути «Бахтин» немецкоязычных университетов начинается с Юлии Кристевой, чьи первые работы, написанные о Бахтине по-французски, появились почти одновременно с первыми избранными переводами из Бахтина на немецкий. (Мы имеем в виду переводы Кемпфе, включенные в сборник *Literatur und Karneval*, вышедший в 1969). Кое-кто, подобно Рольфу Клепферу, подчеркивал, что немецкие (а тем паче западногерманские, как ехидно замечает восточногерманский автор — Kowalski) читатели Бахтина испытали явное влияние кристевской интерпретации, в свою очередь всецело восходящей к откровенному неформализму теории интертекстуального анализа. Ее статья «Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman» (1967) в 1971 вышла в немецком переводе и широко читалась немцами, стремящимися узнать что-то новое о Бахтине. Статья и поныне весьма популярна среди студентов.

Утверждение о подавляющем и даже опасном влиянии статьи Кристевой на эволюцию бахтинских исследований можно, конечно, оспаривать, но все же нельзя отрицать, что ее позиция пользовалась в данной сфере монопольным авторитетом. Но, разумеется, не следует ограничиваться лишь тем, что от случая к случаю говорилось о Бахтине в начале семидесятых. Необходимо иметь в виду весь соответствующий спектр, в особенности те важные переводы, которые публиковались в это время как в Восточной, так и в Западной Германии, переводы, открывавшие доступ к первичным источникам, неведомым в период ранних эссе Кристевой. Более того: если обратить внимание на новаторские статьи, где тематизировались свежие и оригинальные концепции бахтинской философии, то понимаешь, что немецкоязычный Бахтин уже значительно превзошел прежнее впечатление от Кристевой, хотя энтузиасты новых прочтений, несомненно, первоначально приняли ее близко к сердцу. Контрпретензию на свое собственное — в сравнении с интерпретацией Кристевой — понимание Бахтина особо энергично подкрепила, к примеру, часто цитируемая статья Юргена Лемана (Jürgen Lehmann) «Ambivalenz

und Dialogizität», тонко сочетающая бахтинские идеи с основным импульсом, идущим от Фуко, а также впечатляющая работа Самуэля Вебера «Der Einschnitt. Zur Aktualität Voloshinovs», — остроумный опыт деконструктивного чтения Бахтина/Волошинова, послуживший предисловием к его немецкому переводу *МФЯ* (впервые изданному в 1975 \*). Немецких читателей Бахтина интересовала, судя по всему, не только интертекстуальность как таковая, но и понятие карнавала, которое, как мы увидим ниже, они стремились углубить в тех направлениях, что остались нераскрытыми во всех работах Кристевой. И в начале 1980-х в Германии вырисовывается ряд самостоятельных прочтений, переросших изначальные рамки кристевского влияния.

Начало 1980-х отмечено появлением нескольких важных публикаций, прежде всего трудов конференции в Констанце (Западная Германия), изданных под редакцией Лакман и конференции в Йене (Восточная Германия; под редакцией Хильберта). Одновременно выходят влиятельные прочтения Ганса-Роберта Яусса (в его «*Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik*», 1982 \*\*) и, наконец, том «*Das Gespräch*», опубликованный в 1984 г. издательством «Вильгельм Финк» в престижной серии «*Hermeneutik und Poetik*»; последняя книга в основном обязана своим появлением ученым из Констанцы. К этому времени стало очевидным, что в немецких ученых кругах народилось несколько Бахтиных: социалистический Бахтин, обитающий в Йене и других центрах Германской Демократической Республики (главным его вкладом в науку признавалась обновленная теория литературной рефлексии — Хильберт, Штедтке); историки из Мюнхена и Констанцы, увлеченные бахтинским исследованием позднесредневекового карнавала, а также другие историки, использующие наследие Бахтина как орудие в дебатах о процессе перехода от Средних веков к Ренессансу (Гумбрехт); более «формалистический» Бахтин, связанный духовными контактами с русским формализмом (работы Хансен-Леве и Шмида); и социально-семиотический Бахтин, обозначившийся в работах Петра Зимы в Австрии.

Однако было бы превратным предполагать, что отныне идеи и основные посылки Бахтина нашли в немецких университетах

\* Более поздний вариант данного текста вышел по-английски под названием «*Intersection Marxism and the Philosophy of Language*» (*Diacritics*. № 15. 1985. P. 94—112).

\*\* Английский перевод опубликованный University of Minnesota Press, заимствован из более раннего издания книги, в которой важные статьи Яусса о Бахтине отсутствуют.

всеобщее признание. Столь же опрометчивым было бы верить, что Бахтин читается, — или по крайней мере, читался — повсюду, обеспечивая новую методологическую базу для исследований культуры как таковой в общих рамках гуманитарной учености. Точнее будет сказать, что образовывались отдельные, — пусть даже и весьма горячие, как в Констанце, — но все же именно отдельные очаги интереса, которые отнюдь не имели своим результатом некий взрыв универсального энтузиазма. Некоторые из ученых столь же быстро Бахтина оставили, как восприняли его в конце 1970-х или начале 1980-х. Было бы явно преждевременным утверждать с полной определенностью, что Бахтин стал, — по словам многих, — эпицентром мощной интеллектуальной моды 1980-х. Но почти проповедническая ревность, звучащая в словах о данном «модном» поветрии, предупреждает нас о глубоком, хоть и малозаметном с первого взгляда, недоверии, которое испытывает значительное число ученых гуманитариев по отношению к потенциальному воздействию идей Бахтина на многие умы. Более того, резкость используемых при этом выражений наглядно демонстрирует раздражение при мысли о том, что степень распространения бахтинских идей превышает предел, терпимый для его оппонентов. Один рассерженный историк, крайне недовольный той популярностью, которой, по его наблюдениям, пользуется среди студентов Бахтин, выразил свои настроения в следующем полемическом комментарии:

Бахтинские теории не критически пропагандируются молодыми учеными, несмотря на то, что уже давно была доказана их несостоятельность. Совершенно непонятно, как они ухитряются сочетать данные теории с присущим им духом научной пытливости, как могут просто-напросто игнорировать целые сферы исследования, — такие, к примеру, как исследования аллегории, — как, даже будучи знакомыми с подобными штудиями, они предпочитают публично от них отекаться (D.-R. Moser).

Бахтин, по всей видимости, затронул какие-то весьма чувствительные струны в душах многих людей. Чувствительность эта труднообъяснима, но она тем не менее присутствует как в восторженном приятии философии Бахтина в некоторых кругах, так в том удивительном пафосе, с которым ее порой отвергают. В специальном номере «*Jahrbuch für internationale Germanistik*», посвященном смеху, Райнер Штольман из Бремена высказывает интересное наблюдение о важности смеха, а также плача (то есть момента, что справедливо указывалось критиками, игнорируемого Бахтиным) как механизмов катаргической разрядки, необходимых для здорового и долгого благоденствия и отдельных ин-

дивидуумов, и обществ. Германское общество Третьего Рейха обнаружало свою неспособность у смеху: «Я не верю, что фашист может смеяться», — пишет Штольман. Во время длительной и сложной исторической эволюции, приведшей немецкоязычную часть Европы от средневекового сельского к современному городскому обществу, где-то произошла осечка. Город, который столь долго был в умах немецких и австрийских крестьян вождеденным раем, в определенный момент стал адом на земле, куда их безжалостно затягивало лишь ради последующих неисчислимым страданий, даже смерти в условиях убожества и нищеты. В процессе этого немислимого перехода все каким-то образом разучились смеяться, а равно и оплакивать утрату старого, канувшего в забвение общества.

Мы можем, подобно Штольману, предположить, что Бахтин предоставляет современным читателям возможность мысленного возврата к тому этапу коллективной истории, где можно сопоставить и проработать антагонистические энергии, исходящие от исторических явлений, дабы в итоге преобразовать эти энергии к лучшему или на достаточно нормальный, здоровый разрыв с прошлым. По сути дела, Германию до сих пор преследуют призраки ее прошлого, отчасти, разумеется, обусловленные многочисленными комплексами вины, но также и тем фактом, что вслед свершившимся здесь трагическим катастрофам еще ни разу не наступал необходимый период плача и смеха. «Можно утверждать, что наши критерии смеха и плача искажены. Поэтому столь проблематичной становится возможность поступка в должный час».

Какое бы значение эти «ненаучные» наблюдения не имели для уяснения специфических форм бахтинского влияния в немецкоязычном мире, они, по крайней мере, являют собою попытку указать на то беспокойство, которое многие современные немцы испытывают по отношению не только к прошлому, но и к будущему. Используя Бахтина в своей собственной работе о сравнительном отсутствии в германской истории должным образом сфокусированного смеха, Штольман тем самым становится в ряд многих ученых, перенимающих идеи Бахтина конструктивно, с целью включения их в проекты актуально-современной значимости. Иные же мыслители напрочь отказываются выводить бахтинские идеи за пределы того специфически русского духовного и политического контекста, с которым он всю свою жизнь был неразрывно связан, сознательно игнорируют всякую возможность применения методов его мышления к историческим событиям и феноменам, лежащим вне данной, специфически русской

сферы. Эта тенденция, однако же, суть не столько пуританское желание быть верным Бахтину без всяких примесей (некое подобие несвоевременного консерватизма, характерного не для одной лишь Германии), сколько развитие принципов пуританской риторики, призванных дискредитировать всякую попытку использовать Бахтина в русле «модных» — по определению оппонентов — типов академического дискурса.

Современная немецкая политика долгие годы вязла — по принципу «или-или» — в двойной колее политических страхов, застряв между образами фашистской либо сталинской диктатур. Те же извращенные пропорции, как мы сейчас увидим, были свойственны и политике академической, даже так называемым интеллектуальным дебатам, в которые непосредственно вовлекалось наследие Бахтина. В духе столь упрощенной схемы легко отвергнуть «модные» прочтения Бахтина как примитивные социалистические толкования, а «консервативные» интерпретации — свести к пережиткам нацистской или недалекой буржуазной ментальности. Впечатление такое, будто этот сценарий последовательно воплощался в жизнь, поскольку мало что из бахтинских исследований бывшей Демократической Республики принимается на Западе всерьез\*, подобно тому как ученые бывшей ГДР тоже считали себя обязанными отвергать западные работы за их неприемлемый структурализм (даже если подобное определение и не отвечало действительности)\*\*.

---

\* Занятым примером такого рода отношений может служить «вестернизация» некоторых переводов Бахтина — из общего, весьма значительного их числа, исполненного в Восточной Германии, но недостаточного или сознательного игнорируемого на Западе. В 1986 Aufbau Verlag (Восточный Берлин, Веймар) опубликовало ряд текстов из *ВЛЭ* под названием «*Untersuchungen zur Poetik und Theorie des Romans*»; некоторые из них, впрочем, еще до этого вышли во Франкфурте под шапкой «*Die Ästhetik des Wortes*» (Suhrkamp). В 1986 Fisher Verlag во Франкфурте выпустило статьи из книги восточногерманских переводов — статьи, на Западе еще не переводившиеся, под названием «*Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen zur historischen Poetik*». Знаменательно, что это новое западное издание является практически единственным среди переводов Бахтина, опубликованных в бывшей Западной Германии без всякого вступительного или заключительного слова; пропущенным же оказывается введение из восточногерманского издания (с резкой критикой некоторых западных интерпретаций Бахтина).

\*\* К примеру, в ранней восточногерманской рецензии (Барка) на сборник «карнавальных отрывков» из книг о Рабле и Достоевском в переводе Александра Кемпфе предметом острой критики служит изда-

образом в Северной Америке «политически корректные» тенденции не только дискредитировали сами себя, но и стали мальчиками для битья, которых политически-правые используют во всех мыслимых ситуациях для разоблачения всего, что кажется радикальным, либо же для гордого оправдания собственных (иначе никак оправданию не подлежащих), «политически некорректных» действий. Так и прочтения Бахтина, когда они представляются «чересчур левацкими», отвергаются путем демонстрации их тайной связи со сталинистским навыком мышления. Всего через два года после того, как вся книга о Рабле была, наконец, переведена на немецкий под редакцией Ренаты Лахман, престижная — и консервативная — «*Frankfurter Allgemeine Zeitung*» поместила переведенную с русского статью, где подчеркивались именно такие воображаемые негативные смыслы, которые при желании можно извлечь из бахтинской концептуализации карнавала. Хотя Бахтин был, «разумеется, отнюдь не тайным сталинистом» (Гройс) его «ницшеанский» труд тем не менее являет «тоталитарным образ мышления, доминировавший в 1930-е годы», — ибо его карнавалый смех есть смех «тоталитарный», которого никому не дано было избежать.

Так вырисовываются принципы, которым следовали правые интеллектуалы, оперируя с феноменом Бахтина в Германии. Пуританские претензии использовались не для восстановления подлинного, изначального Бахтина, но как раз для его развенчания. Соответственно не предпринималось никаких попыток найти новое применение его идеям, действительно очистив их от всего неприемлемого, как не было и попыток представить Бахтина адекватно специфически правой точке зрения, с которой бы его рассматривали.

Мы вновь и вновь сталкиваемся именно с прямым развенчанием, основанным на следующей предпосылке: коль скоро истинный Бахтин может быть правильно понят лишь в контексте его собственного, а отнюдь не нашего времени, его идеи абсолютно не поддаются какой-либо универсализации. Более того: из-за чрезвычайной скудости доступного ему исследовательского материала и тех духовных условий, в которых Бахтин вынужден был работать, в его исследованиях скопилось много ошибок и лакун, делающих их в лучшем случае устаревшими. Историк Хорст Фурманн лихо расправляется с Бахтиным именно на подобных

---

тельское заключение: за то, что Бахтина там пытаются поместить в лагерь западного структурализма, тогда как одна из главных целей, которые четко ставит перед собой Кемпфе, — показать что Бахтин структуралистом не был.

основаниях в своей весьма откровенной ремарке из вступительного текста к его «*Einladung ins Mittelalter*». Данный «информативный» текст гласит:

<...> то, что Михаил Бахтин, родившийся в 1898 (sic!), автор, высоко ценимый в литературных кругах, имел сказать по поводу репрессивной «серьезной культуры» (Государства, Церкви, Феодалной Иерархии) и оппозиционной «смеховой» (народной) культуры в своей книге «*Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur*» (1969), граничит с чистейшим абсурдом и не имеет — в том, что касается Средних веков, — ни малейшего отношения к реальным фактам.

Другие симптомы пренебрежения бахтинскими идеями и трудами находят несколько более тонкие формы выражения. Точнее сказать, бахтинские штудии пребывают во многих германских академических сферах в том состоянии, которое не назовешь иначе как зияющей пустотой. Знаменательный пример — труды Восьмого международного конгресса германистов в Токио (1990), в число докладов которого, опубликованных в серии из одиннадцати томов с многообещающим титулом «*Begegnung mit dem Fremden*» («Встреча с Чужим»), включена единственная статья относительно бахтинской теории пародии и еще одна, лишь бегом Бахтина поминающая.

Столь снисходительное замалчивание может, впрочем, показаться куда более предпочтительным, чем уничижительные комментарии типа тех, что мы только что воспроизвели из книги Хорста Фурманна. В любом случае следует отметить, что именно этот комментарий фигурирует в качестве эпиграфа к острополюемической статье историка Дитца-Рюдигера Мозера о том, что роковое влияние бахтинского труда о карнавале имело разрушительные последствия для серьезных исторических штудий. Данная статья Мозера — не только прямой выпад против самого Бахтина, но и достаточно откровенная атака на некоторых из его ведущих критиков, в особенности на Норберта Шиндлера и Ганса Мозера (видимо, не родственника). Агрессивная статья о Бахтине, опубликованная в 1990 в журнале «*Euphorion*» вызвала две реплики: во-первых, достаточно спокойный ответ Арона Гуревича (1991), повторяющий (правда, в менее четкой форме) многие ясно сформулированные позиции его более ранней книги о народной культуре Средневековья (1987), а, во-вторых, не менее полемичный, чем изначально у Д.-Р. Мозера, текст Елены Нэрлих-Слатевой. Выплеснувшийся на эти страницы острый конфликт показал, что Бахтин — если его не игнорируют — способен провоцировать немецких ученых на весьма эмоциональные прения.

Некоторые наиболее спорные аспекты статьи Д.-Р. Мозера, вероятно, проступают гораздо четче, когда сравниваешь ее полемические претензии с гораздо более тонко нюансированными выпадами Гуревича (в последней главе его книги «*Mittelalterliche Volkskultur*», которая называется «“Верх” и “Низ”. Средневековый гротеск», подробно трактующей о многих темах, в данной полемике затронутых). Например, — если остановиться лишь на одном моменте, — когда Д.-Р. Мозер заходит настолько далеко, что ставит под сомнение само понятие народной культуры, отличной от культуры официальной, задокументированной в письменных источниках, становится ясным: очевидное одобрение его позиции, которое стремится выразить Гуревич по контрасту с репликой Нэрлих-Слатевой, все же отнюдь не абсолютно. Видя слабые стороны бахтинского труда, Гуревич все же не отвергает его, поскольку Бахтин способен обеспечить ту широту взгляда, которая столь необходима гуманитарным и социальным дисциплинам. И в любом случае необходима гораздо больше, чем зашоренные вылазки за чистой фактологией. Спор, однако же, на этом не закончился. Текст Мозера привлек внимание не только гуманитариев-специалистов, но и анонимного комментатора (mr), чей позитивный отклик на позицию Д.-Р. Мозера вкупе со столь же решительным неприятием работы Бахтина в целом, был опубликован в той же «*Frankfurter Allgemeine Zeitung*» (1991). Полемика также была вновь упомянута в статье о карнавале, опубликованной в филологическом журнале «*Neohelicon*» Вернером Реке (1990); на этот раз автор примыкает к Г. Мозеру и Шиндлеру, адаптируя методы последнего ради своих собственных литературно-исследовательских потребностей.

Этот оживленный спор, в котором работа Бахтина о карнавале сыграла роль отнюдь не периферийную, нуждается, вероятно, в ретроспективном комментарии. С первого взгляда очевидно, что огорчительно (даже непростительно) поздняя публикация полного немецкого перевода книги о Рабле (1987) пробудила определенный интерес к работе Бахтина внутри поля уже весьма активных исследований карнавала, которые велись в Германии и фольклористами, и историками. Вплоть до начала 1980-х интерес к книге о Рабле поддерживался главным образом за счет адаптации понятия карнавала к сфере филологии. Единственной статьей, глубоко затронувшей исторические проблемы (вместе с пристегнутыми к ним литературными вопросами) была исключительно глубокая работа Ганса Ульриха Гумбрехта, где был высказан решительный вызов бахтинской, якобы романтической, вере в масштабный разлом между Средневековьем и Возрожде-

нием. Данная статья, содержательная и концептуально-вдохновляющая, осталась в основном не замеченной в немецких академических кругах, даже позднее, когда развернулась новая полемика о карнавале.

Вышла также и значительная работа на карнавальную тему, созданная издательницей перевода книги о Рабле, Ренатой Лахман. Эта работа, первоначально опубликованная в виде серии статей в различных филологических журналах и сборниках, явилась, наконец, внушительной книгой бахтинского толка под названием «*Gedächtnis und Literatur*» («Память и литература»). Лахман среди прочего стремится развить соображения Бахтина о возможной семиотике карнавала. Для этого она сопрягает намеченную у Бахтина теорию памяти с тезисом о карнавалах как контркультурной семиотике тела. Тем самым карнавал превращается в язык, систему телесных знаков, которые восходят к принципу смеха, парадигматически включая в себя относительность, подвижность, открытость, трансформацию, амбивалентность, эксцентрику, телесность и избыток. Синтагматически данный язык воплощается в своих характерных ритуалах. Поскольку смеховые эффекты выходят за пространственно-временные пределы самого карнавала, то в карнавальных ритуалах можно обнаружить возобновляющиеся циклы глубинной коллективной памяти.

С одной, именно с филологической стороны, к первоначальному интересу вызванному книгой о Достоевском, прибавился активный интерес к понятию карнавала, прежде всего к коллективным аспектам этой бахтинской концепции. Но карнавальные исследования обретали и дополнительный исторический аспект, с которым идеи Бахтина мало-помалу ассоциировались все теснее. В 1982 независимый ученый Ганс Мозер написал язвительную статью, где вся серия публикаций Дитца-Рюдигера Мозера о средневековом карнавале и его религиозных источниках была представлена конгломератом домыслов и заблуждений. Д.-Р. Мозер в своих работах стремился доказать, что европейский карнавал никоим образом не восходит к античноязыческим обрядам типа римских сатурналий, но является сознательным изобретением, к которому прибегла церковная власть в целях разработки дидактического средства, способного пресечь в среде верующих слишком пагубные отклонения от церковных догм. Согласно Д.-Р. Мозеру, традиционный тезис Августина о двух градах, земном и небесном, гораздо лучше изъясняет сложности мировосприятия человека эпохи Средневековья, чем не подтвержденные документами домыслы с помощью которых пытаются доказать

непрерывность традиций народной культуры от античности до позднего средневековья и даже еще дальше.

Ни один из Мозеров на первых стадиях дебатов (со временем ставших достаточно склочными) не пользуется ссылками на работы Бахтина. Склочность еще усилилась, когда Д.-Р. Мозер в своей реплике, помещенной в очередном выпуске «*Jahrbuch für Volkskunde*» (Neue Folge, 6, 1983), не только подверг откровенному сомнению компетентность издателей журнала за то, что они приняли к печати этот суррогат учености (то есть статью Г. Мозера), но и напоминал, стремясь окончательно подорвать позиции противника, об отсутствии у Г. Мозера какого-либо официального университетского звания. Прямым следствием полемики явился том «*Jahrbuch*» 1983 года, специально посвященный *Fastnachtsforschung* (карнавальным исследованиям); целая группа авторов оживленно обменивается тут мнениями из двух разных лагерей, в дискуссии обозначившихся, — имя Бахтина, однако же, по-прежнему в прениях не упоминается.

В следующем выпуске «*Jahrbuch für Volkskunde*» (Neue Folge, 7, 1984) Норберт Шиндлер вступает в схватку с замечательно мощным образчиком исторической учености, публикуя статью о соответствующих аспектах карнавальная темы, — статью с целым рядом обстоятельных ссылок на базовый тезис Бахтина о присущей карнавалу амбивалентной картине мира. Шиндлер наносит несколько четко рассчитанных ударов по позиции Д.-Р. Мозера, подтверждая собственные взгляды архивными материалами и разнообразными вторичными источниками. Дополнительный лоск его аргументация обретает в четвертой главе его книги «*Widerspenstige Leute*» (1992), где помещена более полная, обновленная версия этой важной статьи. С этой поры дебаты на несколько лет замирают в состоянии слабого кипения — вплоть до 1990 года, когда появляется уже известная нам статья Д.-Р. Мозера о Бахтине, поводом к которой, вероятно, послужил новый, на этот раз полный, перевод книги о Рабле. Теперь уже персональной атаке подвергается и сам Бахтин, и Шиндлер как историк весьма малодостоверный, чьи знания о делах церковных носят «в лучшем случае дилетантский характер» («*Lachkultur des Mittelalters...*», 110). Вновь решительно ставится вопрос о компетенции издателей «*Jahrbuch für Volkskunde*», — на этот раз в связи с тем, что они опубликовали шиндлеровскую статью. Да, прения тут, конечно, достигли крайней живости. И кто знает, может быть, и в будущем идеи Бахтина не раз станут источником прямо-таки карнавальной бури на страницах какого-нибудь солидного академического издания!

Хотя тема карнавала и заняла особо заметное место среди работ о Бахтине, она не стала единственным руслом немецкой критики. С самого начала понятие «диалога» тоже играло в германских исследованиях важную роль, подчас тесно связанную с герменевтической традицией вопроса-ответа — традицией, которую столь основательно выделил и разработал Ганс-Георг Гадамер. Интерес к проблеме «диалогизма» определился на конференции в Констанце, материалы которой были опубликованы под названием «*Dialogizität*» (1982)\*. Другой новаторской — на этот раз не столь полемичной, — линией немецкой критики Бахтина стало изучение его метафор, изначально возросшее на почве все того же интереса к диалогу. Можно выделить два определенных аспекта филологических штудий подобного плана, дополняющих англоязычные комментарии к Бахтину, в которых данная тема обычно отсутствует.

Первый подступ к проблеме бахтинских метафор наметился в нескольких статьях Вольфа Шмида, который напоминал читателям Бахтина: то, что русский философ именует диалогом в литературных (печатных) текстах, реально может считаться диалогом лишь в метафорическом смысле. Та же тема как бы ирреального диалогизма в высказываниях Бахтина затрагивалась по обе стороны прежней внутригерманской границы (Прайседанц, Хильберт). Указывалось, что читатели Бахтина достигли той стадии, на которой метафорическая, зачастую скрытно-метафорическая природа бахтинского термина «диалог» предстала уже порядком подзабытой. Для того чтобы подлинный диалог состоялся, необходима самостоятельность и дружба каждого из собеседников, равно как и желание обеих сторон идти на активные и непрестанные уступки. В таких же знаковых явлениях литературного текста, как полифоническая речь, двуголосие или разноголосие основные потребности подлинного диалогического обмена, как такового, полностью отсутствуют.

В метафорике бахтинского языка занято то, что сам Бахтин далеко не всегда уделял своим метафорам серьезное внимание.

---

\* Этот специфический неологизм часто сходит за немецкий эквивалент того, что по-английски переводится как «диалогизм». Интересно отметить, впрочем, что в немецкой критике появился еще один неологизм — «*Dialoghaftigkeit*». Первый из них обрел дополнительное значение «диалогизма в духе Констанцской школы», а второй — «диалогизма в духе Йенской школы». Этот занятый семантический нюанс прокомментировал Эдвард Ковальский в послесловии к немецкому изданию работ Бахтина по поэтике и теории романа (Берлин и Веймар, 1986, с. 535, прим. 6).

Иногда он походя замечает, что в данном случае прибегает к метафорической манере выражения, как бы (иронически?) извиняясь за то, что язык его столь неадекватен. И все же его язык чрезвычайно метафоричен и сам по себе, причем там, где это особо не бросается в глаза, на что обратил внимание Юрий Лотман, знаменитый тартуский семиотик: по его словам, бахтинская метафоричность знаменует нечто весьма фундаментальное и насущное в человеческом общении как таковом, — а именно — редко изучаемую врожденную творческую активность человеческого языка, равно как и непреложную индивидуальность всех говорящих — все то, чему Бахтин стремился во что бы то ни стало найти теоретическое объяснение. Достаточно странно, но когда по-настоящему вдумываешься в бахтинские пассажи, где дело заходит непосредственно о метафорической речи, видишь, что он ассоциирует ее с лирической, то есть потенциально монологической тенденцией. Хельга Гайер Райян пронизательно подмечает у Бахтина данное противоречие: то, что он вопреки своим собственным метафорам, как представляется, открыто отрекается от метафорического диалога как совершенно неадекватного для внутреннего восприятия того разногласия, которое, по Бахтину, есть высшая цель диалога в романе. Причем двусмысленность тропологического диалога или дискурса никак не может возникнуть из того же симультанного совмещения смысловых слоев, как это происходит в романной прозе, — на что Бахтин специально обращает внимание в своем «Слове в романе».

Представляется, что эта линия поиска особенно перспективна, ибо подводит нас к универсальному вопросу о том, как социальное разногласие проникает в поле непосредственной речи. Быть может, та же линия способна разъяснить и функцию козла отпущения, которую, по всей видимости, принимает на себя в бахтинской теоретической системе лирика. Изучение обширной и сложной проблемы метафорического дискурса в его отношении к симультанно-множественным смысловым нюансам дискурса социального обладает и еще одним явным преимуществом: метафорология сама по себе — область междисциплинарная, роднящая разные гуманитарные и социальные науки. Она дополнительно помогает укрепить тот здоровый междисциплинарный компонент, который уже сейчас присущ «бахтинским исследованиям» в немецкоязычном мире.

Воля к междисциплинарности, изначально свойственная этим исследованиям, находит поддержку и в том, что можно назвать их внешним импульсом. Иными словами, ученые, изучающие Бахтина в сфере немецкого языка, чаще всего данной интеллек-

туальной сферой не ограничивались, — стараясь быть в курсе аналогичных штудий на русском, французском и английском языках. Знаменателен пример Петера Зимы, который обычно подкрепляет свои остроумные доводы теоретическим материалом широкого международного спектра. Согласно Зиме, труды Бахтина изначально наделены сущностной амбивалентностью, что резко отличает их от иных типов мышления, обычно нацеленных на финальный синтез. Что же касается интернациональных ракурсов, то Зима в данном плане не одинок. И западные, и восточные авторы всегда проявляли острый интерес к тому, чтобы критически обсуждать бахтинские идеи на базе иных — не своих собственных — культурных традиций.

Такая подлинно интернациональная умственная установка, возможно, в какой-то мере объясняет проблему переводов Бахтина, зачастую пребывающую в плачевном состоянии (по-прежнему они порой остаются недоступными по-немецки). Ведь восточногерманские читатели большей частью читают по-русски, читатели же западные — по-английски или по-французски. Хорошие же, надежные и доступные переводы достаточно редки. Разумеется, это прискорбно. Немецкие студенты, интересующиеся Бахтиным, по-прежнему вынуждены обычно довольствоваться спорными (сжатыми и аккуратными) публикациями отрывков из книг о Достоевском и Рабле, причем для печати подбираются все те отрывки из данных книг, где речь идет о карнавале. Хотя и полезная для вводного чтения, но такая антология (выпущенная под титулом «*Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur*» («Литература и карнавал. О теории романа и смеховой культуре»)) оказывает негативный эффект, если используется в более широком контексте. 125 с лишним страниц переводного текста все же ни в коей мере не дают исчерпывающего представления о бахтинской концепции карнавала, прежде всего потому, что скрадываются резкие различия в подходах к Достоевскому и Рабле. Хуже того: многие пассажи пропущены без специальных уведомлений, даже внутри выбранных для перевода отрывков. К тому же издатель счел нужным снабдить эти отрывки дополнительными заглавными названиями, порой достаточно произвольными, — поэтому остается только смутно догадываться, из каких мест русского оригинала переведенные тексты извлечены и откуда заимствованы названия.

Однако, несмотря на явные недостатки (четко подмеченные Хендриком Бирусом в его рецензии и — в еще более резкой форме — Еленой Нэрлих-Слатевой, перевод этот продолжает пользоваться коммерческим успехом, о чем свидетельствует его вто-

рое издание, выпущенное в достаточно многотиражной серии «Fisher Wissenschaft» (1990). Но одно дело, когда его читают как вводный текст к идеям Бахтина, и совсем другое, когда в нем видят первичный источник. В острой дискуссии между Шиндлером и Д.-Р. Мозером особенно поразителен тот факт, что оба они полагаются на книгу «*Literatur und Karneval*»; это способно привести к совершенно искаженному представлению о бахтинской концепции карнавала (что подчеркивается в начале статьи Нэрлих-Слатевой).

Полный немецкий перевод книги о Рабле появился лишь в 1987 г. — под титулом «*Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur*» («Рабле и его мир. Народная культура как контркультура»). К сожалению, образ бахтинского карнавала в Германии формировался под воздействием книги в извлечениях, чья монополия держалась с 1969 по 1987. Однако проблема вымышленных заглавий, придуманных издателями для бахтинских текстов, — особенно это бросалось в глаза в первой антологии отрывков, изданных Кемпфе, — с первым полным переводом книги о Рабле отнюдь не исчезла. Другие, предшествовавшие немецкие переводы работ Бахтина (включая книгу о Достоевском, МФЯ Волошинова, ФМ Медведева) по крайней мере уважительно сохраняют оригиналы русских названий. Но, — как и в случае с англоязычными издателями, — собрание работ, опубликованных в Москве в 1975 г. (ВЛЭ), неизменно сопровождается ворохом новых названий. Книга эта частично была опубликована в Западной Германии под названием «*Die Ästhetik des Wortes*» (1979) — лексический сдвиг, может быть и не столь значительный, как в «*The Dialogic, Imagination*». Другие фрагменты книги, частично перекрывающие издание 1979 года, вышли в Восточном Берлине в 1986 под названием «*Untersuchungen zur Poetik und Theorie des Romans*» («Исследования по поэтике и теории романа») и в свою очередь были частично переизданы в 1989 во Франкфурте как «*Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen zur historischen Poetik*» («Формы времени в романе. Исследования по исторической поэтике»).

Наш достаточно краткий очерк проблем восприятия Бахтина в Германии бесконечно усложнился бы, попробуй мы проследить судьбу немецких переводов текстов, опубликованных под шапкой «*Эстетика словесного творчества*» (М., 1979), либо в более поздних русских изданиях. Скажем лишь, что обстоятельный, хотя все же и неполный, немецкий перевод «Автора и героя», вышедший тремя частями в журнале «*Kunst und Literatur*» в 1978—1979 годах, так и не появился в стандартной книжной версии.

Другие тексты Бахтина рассеяны по малодоступным восточно-германским публикациям, таким, как «*Disput über den Roman*» Микаеля Вегнера, «*Kontext. Sowietische Beiträge zur Methodendiskussion in der Literaturwissenschaft*» Розмари Ленцер, «*Konturen und Perspektiven*» Эдварда Ковальского. К сожалению, никто так и не попытался воспроизвести сборник 1979 года целиком. Одна из статей, «Проблема текста», была опубликована в теоретическом журнале «*Poetica*» в 1991. Но с падением Берлинской Стены перспектива объединить усилия людей, занятых исследованиями или переводом Бахтина по обе стороны прежней границы, по всей видимости, оказалась никому не интересной. Сдвиг в сторону сотрудничества, несомненно, явился бы позитивным этапом для тех, кто увлечен Бахтиным на Востоке и Западе, и форсировал бы процесс подготовки надежных переводов, насущная потребность которых ощущается в сфере бахтинских исследований уже давно.

Надеюсь, что международные и междисциплинарные аспекты этих исследований и в будущем останутся их характерным признаком. Хотелось бы под конец пожелать, чтобы режим одностороннего движения между англо- и немецкоязычными университетами сменился более гармоничным диалогом. До тех пор немецкие публикации оставались практически не замеченными в англоязычном мире — к ущербу всех заинтересованных лиц, в особенности тех, кто наиболее активно заинтересован в развитии межкультурных исследований культуры в духе идей Бахтина.

1996

Перевод М. Н. Соколова

